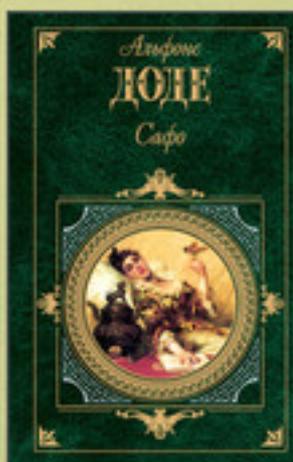


Альфонс Доде

# Сафо



*Часть сборника  
Сафо (сборник)*



# Альфонс Доде Сафо

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=167821](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=167821)  
А.Доде Тартарен из Тараскона. Сафо.: Эксмо; Москва; 2002  
ISBN 5-699-00217-0*

## **Аннотация**

В центре романа – дама полусвета Фанни Легран по прозвищу Сафо. Фанни не простая куртизанка, а личность, обладающая незаурядными способностями. Фанни хочет любить, готова на самопожертвование, но на ней стоит клеймо падшей женщины.

## Содержание

I	4
II	9
III	17
IV	26
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# Альфонс Доде

## Сафо

### Парижские нравы

*Моим сыновьям – с условием, что они прочтут эту книгу, когда им исполнится двадцать лет.*

#### I



- Да ну, посмотрите же на меня!.. У вас красивые глаза... Как вас зовут?
- Жан.
- Просто-напросто Жан?
- Жан Госсен.
- Вы южанин, вас выдает произношение... Сколько вам лет?
- Двадцать один год.
- Вы художник?
- Нет.
- Ах, как хорошо!..

Июньской ночью на бале-маскараде, в оранжерее, где росли пальмы и древовидный папоротник, служившие фоном мастерской Дешелета, обменивались обрывками этих фраз, заглушаемых криками, смехом, танцевальной музыкой, *pifferaro*<sup>1</sup> и феллашка.

На ее настойчивые расспросы *pifferaro* отвечал с простодушием, свойственным его нежному возрасту, с увлечением, с чувством облегчения, которое испытывал сейчас этот долго молчавший южанин. Чуждый миру художников и скульпторов, при входе на бал тотчас потерявший приятеля, который его сюда привел, он целых два часа прохаживался от скуки по залам, а женщины заглядывались на этого красивого блондина с лицом, покрытым золотистым загаром, с мелкими и густыми, как ворс на его костюме, завитками волос, и незаметно для южанина вокруг него уже вздымалась и рокотала волна успеха.

Танцоры толкали его, молодые художники хихикали над волынкой, которую он держал боком, хихикали над тяжелой одеждой горца, в которой ему летней ночью было мучительно жарко. Между тем японка с глазами простолюдинки, с поддерживавшими ее высокую прическу стальными прутьями, задорно поглядывая на него, напевала: «Ах, как ты хорош, ах, как ты пригож, парень молодой!..» А невеста-испанка в шелковом платье с белыми кружевами, идя под руку с вождем индейского племени, яростно тыкала ему в нос букетом жасмина.

Он ничего не мог понять в этих заигрываниях; ему представлялось, что вид у него, наверное, сейчас уморительный, и он предпочел укрыться в прохладной тени застекленной галереи, где у самой стены под деревьями стоял широкий диван. Тут-то к нему и подседа эта женщина.

---

<sup>1</sup> Волынщик (*итал.*).

Красивая, молодая?.. Это он не сумел бы сказать... Из длинного синего шерстяного платья, обтягивавшего ее полное тело, выступали голые до плеч тонкие округлые руки. Изящные пальцы, унизанные кольцами, серые, широко раскрытые глаза, величину которых подчеркивали свисавшие со лба затейливые металлические украшения, – все это удивительно гармонировало.

Наверно, актриса. У Дешелета их перебивало много. Эта догадка встревожила его – подобная категория женщин внушала ему непреодолимый страх. Она сидела рядом, уперев локоть в колено, уронив голову на руку, и смотрела на него торжественно-грустно и слегка утомленно.

– Нет, вы правда южанин?.. А волосы какие светлые!.. Это редкость.

Потом ей захотелось узнать, когда именно он переехал в Париж, труден ли экзамен на право занятия должности консула, много ли у него знакомых и как он очутился на вечере у Дешелета, на Римской, так далеко от Латинского квартала.

Когда он назвал фамилию студента, который его сюда привел (Ла Гурнери... родственник поэта... ей, конечно, известно это имя...), лицо ее внезапно омрачилось, но он не обратил на это внимания: он был еще в том возрасте, когда глаза блестят, ничего не видя вокруг. Ла Гурнери обещал, что его двоюродный брат тоже будет здесь и что он их представит друг другу.

– Я так люблю его стихи!.. Я был бы счастлив с ним познакомиться...

Она грустно улыбнулась, – видимо, он внушал ей жалость своей непосредственностью, – изящным движением приподняла плечи, а затем, отведя рукой легкие листья бамбука, устремила взгляд на бал – не видать ли там великого человека.

Празднество между тем блистало и кружилось, как апофеоз в феерии. В мастерской никто не работал, а потому ее скорее можно было назвать холлом, и на легких, летних обоях этой громадной двусветной залы, на шторах из тонкой соломы, на газовых занавесках, на лакированных ширмах, на разноцветной посуде, на кусте желтых роз, закрывавшем очаг высокого камина в стиле Возрождения, играл причудливый, радугой переливающий свет бесчисленных фонариков, китайских, персидских, мавританских, японских, из резного железа, со стрелчатый сводом, точно дверь мечети, из цветной бумаги, придававшей им сходство с плодами, распахнутых в виде веера, напоминавших цветов, птицу ибиса, змею. По временам стремительная мощная струя голубоватого электрического света заставляла тускнеть сонм огоньков и заливала лунным сиянием лица и обнаженные плечи, фантазматорию тканей, перьев, блесок, лент, во время танцев задевавших одна другую, поднимавшихся по голландской лестнице с широкими перилами, ведшей на галереи второго этажа, над которыми возвышались грифы контрабасов и мелькали осатанелые взмахи дирижерской палочки.

Молодой человек смотрел на все это сквозь сетку зеленых ветвей и цветущих лиан, составлявших часть убранства, обрамлявших празднество, и в силу обмана зрения ему казалось, будто навстречу танцевальной суете взлетают гирлянды глициний и увивают серебряный шлейф принцессы, будто лист драцены накрывает милую головку пастушки, одетой в стиле помпадур. Его интерес к зрелищу усиливался благодаря тому, что египтянка называла имена – широко известные, славные имена, скрытые под маскарадными костюмами, забавными в своем разнообразии и замысловатости.

Псарь с коротким хлыстом через плечо – это Жадэн. Чуть дальше – в поношенной сутане сельского священника – старик Изабе; он кажется выше своего роста оттого, что в каждую из его тупель с пряжками подложена целая колода карт. Из-под огромного козырька фуражки инвалида улыбается старик Коро. Еще она ему показала Тома Кутюра, вырядившегося бульдогом, Юндта, вырядившегося «тюремной крысой», и Хама, вырядившегося диковинной птицей.

Пышные исторические костюмы, в которые облеклись совсем молодые художники, изображавшие кто Мюрата в шляпе с султаном, кто принца Евгения, кто Карла I, подчеркивали разницу между двумя поколениями: молодые художники были мрачны, холодны, их лица напоминали лица биржевиков, которых старят особого рода морщины, пролагаемые заботами о деньгах, зато старики были куда более шаловливы, шумливы, ребячливы, непоседливы.

Несмотря на свои пятьдесят пять лет и академические пальмы, скульптор Каудаль был в костюме балаганного гусара, с голыми руками, выставлявшими напоказ мощные бицепсы, с подвешенной наподобие ташки палитрой, бившей его по длинной ноге; он покачивал бедрами, представляя последнего кавалера времен Гранд-Шомьер, а напротив него композитор де Поттер, который изображал подгулявшего муэдзина, в тюрбане набекрень танцевал танец живота и пронзительно выкрикивал: «Алла ил алла!»

Широкий круг гостей отгораживал расшалившихся знаменитостей от танцоров. На самом виду хозяин дома Дешелет шурил под высокой персидской папачой свои маленькие глазки, морщил калмыцкий нос, выставлял седеющую бородку, радовался тому, как развлекаются другие, и сам неприметно для окружающих веселился от души.

Инженер Дешелет, лет десять-двенадцать тому назад представлявший собой заметную фигуру в парижском художественном мире, щедрый, богатый, с поползновениями на причастность к искусству, отличавшийся той внутренней свободой, тем презрением к общественному мнению, которое вырабатывает в человеке образ жизни вечного путешественника и холостяка, в ту пору строил железную дорогу Тавриз – Тегеран и каждый год, чтобы прийти в себя после десятилетнего напряжения, после ночей в палатке, после лихорадочной скачки по пескам и болотам, проводил самое жаркое время года вот в этом особняке на Римской улице, построенном по его чертежам, обставленном, как летний дворец, собирав у себя умных мужчин и красивых женщин и требовал от цивилизации, чтобы она за несколько недель угостила его самыми пряными своими лакомствами.

«Дешелет приехал!» Как только, подобно театральному занавесу, над многооконным фасадом особняка поднимался огромный тиковый навес, новость мгновенно обегала мастерские. Это означало, что пойдет веселье, что предстоит два месяца музыки и танцев, приволья и раздолья, будившего сонную тишь богатого квартала, разъезжавшегося по дачам и морским курортам.

Сам Дешелет не участвовал в вакханалии, день и ночь бурлившей вокруг него. Неутомимый гуляка привносил в развлечения буйство холодное, он смотрел по сторонам блуждающим, улыбчивым взглядом человека, только что накурившегося гашишу, и вместе с тем взгляд его поражал несокрушимым спокойствием и несокрушимой трезвостью. Верный друг, дававший займы без счета, к женщинам он питал чисто восточное презрение, уживавшееся со снисходительностью и учтивостью. И ни одна из тех, что приходили к нему, привлеченные его огромным состоянием и жизнерадостной изобретательностью его окружения, не могла похвалиться, что была его любовницей больше одного дня.

– Что ни говорите, а человек он хороший... – добавила египтянка, продолжавшая просвещать Госсена, и вдруг, оборвав себя на полуслове, воскликнула: – Вот он, ваш поэт!..

– Где? Где?

– Да вот, прямо перед вами... в костюме деревенского жениха...

У молодого человека вырвался вздох разочарования. Так вот он, его любимый поэт! Толстяк, лоснящийся, потный, в пристежном воротничке, в пестром жилете, точно снятом с деревенского щеголя, расточающий тяжеловесные любезности!.. Госсену мгновенно пришли на память вопли отчаяния из «Книги о любви», которую он не мог читать без лихорадочного волнения, и он машинально произнес вслух:

Чтоб жизнь вдохнуть, Сафо, в твой горделивый мрамор,  
Ты знаешь – отдал я по капле кровь мою...

Она живо обернулась, отчего пришли в движение и зазвенели все ее восточные украшения.

– Что вы сказали?

Это были стихи Ла Гурнери. Госсен удивился, что она их не знает.

– Я не люблю стихов... – отрезала она.

Некоторое время она стояла неподвижно, хмуря брови, глядя на танцующих и нервно теребя чудесные гроздья сирени. Затем, справившись с волнением, что, видимо, стоило ей немалых усилий, сказала:

– Прощайте!

И скрылась.

Бедный *pifferaro* остался в полном недоумении. «Что с ней?.. Неужели я сказал ей что-нибудь обидное?..» Он стал припоминать, но так ничего и не припомнил и подумал, что самое лучшее – пойти домой спать. С унылым видом подхватил он свою волюнку и, менее озадаченный исчезновением египтянки, чем необходимостью пробираться к двери через всю эту толпу, вошел в бальную залу.

Сознание, что здесь столько знаменитостей, а он никому не известен, наводило на него еще большую робость. Уже никто почти не танцевал. Лишь несколько парочек с остервенением вертелись под звуки замиравшего вальса, и среди них Каудаль, величественный, громадный, держа голову прямо, кружил низенькую санкюлотку, – волосы у нее развевались, а он крепко держал ее своими красными руками.

В настежь распахнутое большое окно в глубине залы потоками вливался утренний бледнеющий воздух, колыхал листья пальм и пригибал огоньки свечей, как бы стараясь задуть их. Вспыхнул бумажный фонарик, загорелись розетки. Вдоль стен слуги расставляли круглые столики, как на террасах кафе. У Дешелета всегда так ужинали – по четыре, по пять человек за столиком. И вот тут-то вы подбирали симпатичных вам людей и объединялись с ними.

Смешались возгласы, свирепые переключки, непристойный жаргон окраин, отвечавший на крикливое «йю-йю-йю-йю!» дочерей Востока, разговоры вполголоса и сладострастный смех женщин, возбужденных лаской.

Госсен воспользовался было суматохой, чтобы проскользнуть к выходу, но в эту минуту его приятель-студент, вспотевший, с выпученными глазами, держа под мышками бутылки, остановил его.

– Где вы пропадаете?.. Я вас искал, искал... У меня уже есть столик, женщины, маленькая Башельри из Комедии-Буфф... Запомните: она одета японкой... Она послала меня за вами... Скорей, скорей!..

С этими словами он убежал.

*Pifferaro* хотелось пить. Вдобавок ему кружил голову бальный хмель, а тут еще славноенькая актрисулька делала ему знаки. И вдруг над самым его ухом послышался мягкий, настойчивый шепот:

– Не ходи туда!..

Он оглянулся: перед ним стояла его давешняя собеседница, затем она повела его к выходу, и он не колеблясь последовал за ней. Почему? Тут действовали не чары этой женщины: он ее едва разглядел, а та, что звала его, кивая высокой прической на стальных прутьях, нравилась ему гораздо больше. Он подчинился более сильной воле, неукротимой страстности желания.

«Не ходи туда!..»

И вот они очутились на тротуаре Римской улицы. Освещенные бледным утренним светом, дожидались седоков фиакры. Метельщики, шедшие на фабрики рабочие окидывали взглядом разбушевавшийся, расплескавшийся пир, эту масленицу в разгаре лета, и ряженую парочку.

– К вам или ко мне?.. – спросила женщина.

Госсену почему-то подумалось, что лучше бы к нему, хотя жил он далеко, и он дал извозчику свой адрес. В продолжение всей дальней дороги они почти не разговаривали. Она только держала его за руку, и он чувствовал, что руки у нее маленькие и холодные. Если бы не холод этого нервного прикосновения, он мог бы подумать, что его спутница уснула, – она откинулась на спинку фиакра, и по лицу у нее скользил голубой отсвет шторы.

Фиакр остановился на улице Жакоб, против дома, где жило студенчество. Подняться надо было на пятый этаж – высоко и трудно.

– Хотите, я вас понесу?.. – спросил он, смеясь, но смеясь чуть слышно, оттого что все в доме спали.

Она смерила его медленным взглядом, пренебрежительным и нежным, оценивающим взглядом опытной женщины, внятно говорившим: «Бедное дитя!..»

Тогда он, отдавшись красивому порыву, свойственному его возрасту и южному происхождению, подхватил ее на руки, понес легко, как ребенка, – цвет лица у него был девичьи нежный, а сам он был сильный и стройный, – и, счастливый тем, что у него такая ноша, тем, что его шею обвили красивые свежие голые руки, не поднялся, а взлетел на второй этаж.

Подъем на третий этаж продолжался дольше и уже не доставил ему удовольствия. Безвольное тело женщины становилось все тяжелее. Ее металлические висюльки сначала приятно щекотали его, а теперь они все яростнее в него впивались.

На четвертом этаже он дышал так шумно, словно перетаскивал фортепьяно. Он ловил ртом воздух, а она, глядя на него из-под полуопущенных век, в восторге шептала:

– Ах, дружочек, как приятно!.. Как хорошо!..

Когда же он одну за другой брал приступом последние ступеньки, ему казалось, будто перила, стены, узкие окна гигантской лестницы бесконечной спиралью уходят вверх. Не женщину нес он теперь, а что-то тяжелое, страшное, от чего он задыхался и что каждую секунду готов был выпустить из рук, злобно швырнуть, хотя бы даже оно разбилось вдребезги.

Но вот он поднялся на узкую верхнюю площадку.

– Уже?.. – открыв глаза, проговорила она.

А он, бледный как смерть, прижав руки к сердцу, которое, казалось, вот-вот разорвется, подумал:

«Наконец!..»

Подумал, но не сказал.

Что же такое вся их история и этот подъем на лестницу в тоскливой пасмури утра?

## II

Он продержал ее у себя два дня. Потом она ушла, оставив у него ощущение нежной кожи и тонкого белья. Она сообщила ему только свое имя, адрес и прибавила:

– Когда я вам буду нужна – позовите... Явлюсь по первому зову.

На маленькой визитной карточке, изящной, надушенной, было напечатано:

### Фанни Легран

#### Улица Аркад, 6

Он сунул ее за зеркало между приглашением на бал в министерство иностранных дел и затейливо разрисованной программой вечера у Дешелета, – это были два его выхода в свет за целый год. И воспоминание о женщине, несколько дней еще плававшее вокруг камина в легком и нежном облаке аромата, улетучилось вместе с облаком, и у серьезного, трудолюбивого Госсена, пуще всего остерегавшегося парижских развлечений, даже не возникло мысли возобновить мимолетную связь.

Экзамен при министерстве должен быть в ноябре. На подготовку остается всего три месяца. После экзамена надо будет еще три-четыре года стажировать в канцеляриях, а потом он куда-нибудь уедет, уедет очень далеко. Мысль о добровольном изгнании не пугала его, – традиция Госсен д'Арменди, старинного авиньонского рода, требовала, чтобы старший сын делал себе, что называется, карьеру – по стопам своих предшественников, с их благословения и при их нравственной поддержке. Для нашего провинциала Париж являлся лишь первой остановкой на долгом-долгом пути, и это обстоятельство препятствовало образованию мало-мальски серьезных привязанностей как в любви, так и в дружбе.

Однажды вечером, недели через две после бала у Дешелета, Госсен зажег лампу, разложил на столе книги и только сел за работу, как вдруг кто-то робко к нему постучал. Он отворил дверь и увидел даму в изящном светлом туалете. Узнал он ее лишь после того, как она приподняла вуалетку.

– Как видите, это я... Я опять пришла...

Перехватив озабоченный, недовольный взгляд, который он бросил на начатую работу, она добавила:

– О, я вам не помешаю!.. Я знаю, как это бывает неприятно...

Она сняла шляпку, взяла «Вокруг света», села и, по видимости углубившись в чтение, больше уже не шевелилась. Но всякий раз, как Госсен поднимал на нее глаза, их взгляды встречались.

Право же, надо было обладать изрядной выдержкой, чтобы тотчас же не сдать ее в объятиях – так она была соблазнительна, так много обаяния было в ее маленькой головке с низким лбом, во вздернутом носике, в чувственных, добрых губах, в гибкой зрелости тела, облаченного в платье, сшитое с парижской безукоризненностью, более для него притягательное, нежели балахон дочери Египта.

Наутро она ушла от него рано, но потом до конца недели приходила еще несколько раз, всегда бледная, с холодными влажными руками, и говорила голосом, сдавленным от волнения.

– Я же вижу, что я тебе надоедаю, что я тебе мешаю, – твердила она. – Во мне мало самолюбия... Если б ты знал!.. Утром, когда я от тебя уйду, всякий раз я даю себе клятву больше не приходить. Но вечером на меня опять накатывает, – просто какое-то наваждение.

Сила ее чувства возбуждала его любопытство, изумляла его, – ведь он привык относиться к женщинам с пренебрежением. Девушки из пивной или со скетинг-ринга, которых он знал до нее, – среди них попадались иной раз совсем юные и милостивые, – оставляли в его душе такое неодолимое отвращение к их глупому смеху, к их рукам, как у кухарки, к грубости их инстинктов и выражений, что, когда они уходили, ему хотелось проветрить комнату. По наивности неискушенного, он полагал, что все сговорчивые девушки одинаковы. Вот почему он с таким удивлением обнаруживал в Фанни нежность, чисто женскую сдержанность и отличавшие ее от мещаночек, с которыми он встречался в провинции, столичный лоск и широкую осведомленность, – с ней можно было не без интереса поговорить о многом.

Вдобавок она была музыкальна, пела, сама себе аккомпанируя, чуть надтреснутым, небольшого диапазона, но уверенным контральто песни Шопена и Шумана и народные мелодии: беррийские, бургундские, пикардийские – у нее их был изрядный запас.

Госсен, обожавший пение – искусство, рожденное негой и вольным воздухом, искусство, которому с такой страстью предаются его соотечественники, – упивался звуками даже во время работы, звуками сладко баюкал свой отдых. И в Фанни его особенно восхищала ее любовь к пению. Он как-то выразил ей удивление, почему она не на сцене, и узнал, что она пела в Комической опере. «Только недолго... Мне там было очень скучно...»

В ней и правда не было ничего натасканного, ничего заученного, ничего от артистки; она была начисто свободна и от тщеславия, и от лицемерия. Она лишь отделяла от постороннего взора свою жизнь завесой тайны, и тайну эту не открывала даже в часы ласк, благо ее возлюбленный и не пытался отдернуть завесу, благо он не был ни ревнив, ни любопытен, не смотрел на часы, когда она в условленное время входила к нему в комнату, благо он еще не испытывал мук ожидания, когда в груди отсчитывает часы и минуты маятник нетерпения и страсти.

Лето в тот год было прекрасное, и они отправлялись иногда любоваться живописными окрестностями Парижа, – их точная и подробная карта была у нее в голове. Они втискивались в густую шумную толпу уезжавших с пригородными поездами, обедали в кабачке где-нибудь на опушке леса или на берегу речки, избегая слишком людных мест. Как-то раз он предложил ей поехать в Воде-Серне.

– Нет, нет!.. Только не туда!.. Там уж очень много художников...



Госсен вспомнил, что их любовь возникла именно из ее антипатии к художникам. На его вопрос, откуда у нее эта неприязнь, она ответила так:

– Все они сумасброды, путаники, фантазеры... Мне они сделали много зла...

Он попытался возразить:

– Но ведь искусство само по себе так прекрасно!.. Ничто так не украшает жизнь и не расширяет кругозор, как искусство.

– Нет, дружок, самое прекрасное, что есть на свете, это быть простым и прямодушным, как ты, да еще чтобы каждому было по двадцать лет и чтобы очень любить друг друга...

Двадцать лет! Да ей нельзя было дать больше, такая она была оживленная, легкая на подъем, всегда веселая, всегда всем довольная.

Однажды они накануне праздника приехали в Сен-Клер и, очутившись в долине Шеврез, не нашли комнаты. Было уже поздно; чтобы добраться до ближайшего селения, надо было идти ночью лесом целую милю. В конце концов им предложили складную койку, стоявшую в дальнем конце сарая, где спали каменщики.

– Ну что ж!.. – сказала она со смехом. – Это мне напоминает времена моей бедности. Значит, она когда-то бедствовала!

Долго пробирались они ощупью между занятыми койками в обширном, недавно побеленном сарае, освещенном чадившей коптилкой, стоявшей в углублении стены... И всю ночь, прижавшись друг к другу, они приглушенно смеялись и целовались под стоны и храп усталых сонночлежников, блузы и грубая обувь которых валялись возле шелкового платья и изящных туфель парижанки.

На зорьке отворилась проделанная в широких воротах дверца, матовый луч света коснулся коек, убитой земли, а затем чей-то сиплый спросонок голос крикнул:

– Эй, шатия-братия!..

После этого в сарае, снова погружившемся в мрак, началась медленная, тягостная возня, слышались зевота, потягивание, надсадный кашель – весь тот унылый шум, который наполняет пробуждающееся человеческое общежитие. Немного погодя неповоротливые, молчаливые каменщики один за другим вышли из сарая, так и не догадавшись, что в том же помещении ночевала хорошенькая женщина.

Когда рабочие ушли, она встала, ощупью оделась, наскоро скрутила волосы пучком.

– Подожди... Я сейчас приду...

И правда, через несколько минут она вернулась с охапкой полевых цветов, мокрых от росы.

– А теперь будем спать... – сказала она и принялась раскидывать по постели утреннюю пахучую свежесть цветущего луга, разрежавшую вокруг них спертый воздух сарая. И никогда еще не казалась она ему такой красивой, как в этот миг, когда, радуясь восходящему солнцу, с растрепавшимися на ветру легкими кудряшками, она принесла в сарай полевые цветы.

Еще как-то они завтракали в Виль-д'Авре на берегу пруда. Осеннее утро окутывало туманом тихую воду и ржавчину лесов напротив них. Они ели рыбу и, думая, что они одни во всем ресторанчике, устроенном в саду, под открытым небом, вдруг, не удержавшись, поцеловались. В ту же минуту из грубо сколоченного павильончика, спрятавшегося среди ветвей платана, у подножия которого стоял их столик, послышался громкий сердитый голос:

– Эй вы! Долго вы еще будете лизаться?..

Вслед за тем в проеме выставилась львиная морда и рыжие усы скульптора Каудалья.

– Я бы с удовольствием позавтракал с вами... А то сидишь тут в дупле, как сыч...

Фанни промолчала, она была явно смущена этой встречей. Госсен, напротив, поспешил пригласить Каудалья, – его интересовал знаменитый скульптор, ему было лестно это знакомство.

Сегодня Каудаль, кокетливый при внешней небрежности, ибо все у него было строго рассчитано, начиная с галстука из белого крепдешина, призванного скрадывать красноту морщин и мелких прыщей, и кончая узким пиджаком, обрисовывавшим еще стройную талию и развитые мускулы, показался Госсену старше, чем на балу у Дешелета.

Но что его изумило и даже несколько озадачило, так это интимный тон скульптора с его возлюбленной. Он называл ее «Фанни», обращался к ней на «ты».

– Знаешь, – говорил он, ставя свой прибор на их скатерть, – я уже две недели вдовею. Мария ушла с Моратером. Первое время я был спокоен... Но сегодня утром, когда я вошел

в мастерскую, у меня опустились руки... Не могу работать, да и только... Бросил я мою группу и поехал завтракать за город. Но если ты один, то радости никакой... Еще немножко, и я оросил бы слезами фрикасе из кроликов...

Затем он перевел взгляд на провансальца: пробивающаяся борода и вьющиеся волосы Госсена, отражаясь в бокалах, окрашивались в тона сотерна.

– Хорошо быть молодым!.. Полная гарантия, что тебя не бросят... А самое главное – сознание, что ты это заслужил... Ты выглядишь так же молодо, как он...

– Невежа!.. – сказала она, смеясь, и в смехе ее звучало нестаряющее обаяние, молодость женщины, любящей и желающей, чтобы любили и ее.

– Ты удивительна... удивительна... – повторил Каудаль; он ел и одновременно наблюдал, и один из углов его рта оттягивала складка завистливой грусти. – Послушай, Фанни: помнишь, как мы с тобой здесь завтракали? Давно это было, страх как давно!.. С нами еще были Эдзано, Дежуа – вся наша компания... И ты свалилась в пруд. На тебя надели мундир речного сторожа. Тебе это отчаянно шло...

– Не помню... – сказала она холодно и вполне искренне; эти изменчивые, вечно рискующие натуры живут сегодняшним днем своей любви. Они не помнят прошлого, они не боятся будущего.

Каудаль, напротив, был весь в прошлом; под действием сотерна он перебирал в памяти похождения своей неутомимой молодости: похождения любовные, кутежи, поездки за город, балы в Опере, труды в мастерской, битвы и победы. Но, вскинув на влюбленных глаза, в которых горел отсвет тех костров, которые он сейчас разворошил в душе, он заметил, что они его не слушают: они перекладывали друг другу изо рта в рот виноградинки.

– Должно быть, все это очень скучно, что я рассказываю!.. Да, да, я вам надоел... А, черт побери!.. Скверная штука – старость...

Он встал, бросил салфетку на стол.

– Запишите за мной завтрак, папаша Ланглуа!.. – крикнул он ресторатору и, словно подтачиваемый неизлечимым недугом, пошел, уныло волоча ноги.

Влюбленные долго провожали взглядом его высокую фигуру, порой нагибающуюся, чтобы ее не задела ветви с пожелтевшими листьями.

– Бедный Каудаль!.. Он, правда, здорово сдал... – с непритворным сочувствием прошептала Фанни.

Госсен выразил возмущение тем, что Мария, девчонка, натурщица, посмела надругаться над чувством Каудалья и предпочесть великому скульптору – кого?.. Моратера, бездарного мазилку, у которого есть только одно преимущество – молодость, но Фанни в ответ засмеялась:

– Ах ты, дитя, дитя!..

Она схватила обеими руками его голову, положила к себе на колени и прильнула губами к его глазам, волосам, как бы втягивая, как бы вдыхая его особенный запах, словно это был букет цветов.

В тот вечер Жан впервые остался ночевать у своей возлюбленной, хотя она приставала к нему с этим уже три месяца:

– Ну почему ты не хочешь?

– Не знаю... Я стесняюсь.

– Да тебе же говорят, что я свободна, что я одна!..

Сегодня сказала усталость после поездки за город, и Фанни удалось затащить его на улицу Аркад, благо это было недалеко от вокзала. На антресолях мещанского дома – с виду почтенного и богатого – старая служанка в крестьянском чепце отворила им с угрюмым видом дверь.

– Это Машом... Здравствуй, Машом!.. – сказала Фанни и прыгнула ей на шею. – А это мой любимый, мой повелитель... Я его привела... Поскорей зажги все, что только можно, сделай так, чтобы в доме было красиво...

Жан остался один в маленькой гостиной с низкими сводчатыми окнами, на которых висели банальные занавески такого же синего шелку, что и чехлы на диванах и прочей мебели из лакированного дерева. На стенах три-четыре пейзажа оживляли обои и вливали в гостиную свежую струю. На всех картинах были дарственные надписи: «Фанни Легран...», «Дорогой Фанни...».

На камине – мраморная, в половину человеческого роста, статуя Сафо работы Каудалья; ее отливки из бронзы были очень распространены – один из таких отливок Госсен еще в раннем детстве видел в кабинете у отца. При свете единственной свечи, стоявшей у подножия статуи, он уловил сходство Сафо с его возлюбленной, сходство, при котором натура выступала облагороженной и как бы помолодевшей. Профиль, линия стана под драпировкой, ниспадающая округлость рук, переплетенных вокруг коленей, – все это было ему близко знакомо. Восхищение искусством ваятеля сливалось с воспоминаниями об ощущениях интимных.

Фанни, застав его за созерцанием мрамора, непринужденно заговорила:

– Есть в ней что-то мое, правда?.. Натурица Каудалья была похожа на меня...

И сейчас же увела Госсена в свою комнату – там Машом с недовольным видом уже расставляла на круглом столике два прибора. Были зажжены подсвечники, зажжены бра у зеркального шкафа, в камине, за экраном, пылал яркий огонь, веселый, как первый огонь на земле, – казалось, будто здесь дама собирается на бал.

– Мне хотелось поужинать в моей комнате... – сказала со смехом Фанни. – Так мы скорей будем в постели.

Жан никогда еще не видел такого кокетливого убранства. Обитая штофом спальня Людовика XVI, обитые светлым муслином спальни его матери и сестер ничем не напоминали это устланное пухом теплое гнездышко, где панель прикрывал мягкий атлас, где кровать заменял один из диванов, более широкий, стоявший в глубине на разостланной белой шкуре.

Эта ласка света, тепла, голубых бликов, удлинявшихся в граненых зеркалах, была особенно приятна после ходьбы по полям, по грязи проселочных дорог, под проливным дождем, на закате дня. Единственно, что мешало Госсену с провинциальным смаком наслаждаться комфортом, каким было обставлено их свидание, это угрюмость служанки, ее взгляд, устремленный на него, до того подозрительный, что Фанни наконец не выдержала и мигом услала ее:

– Оставь нас, Машом... Мы сами за собой поухаживаем...

Крестьянка хлопнула дверью.

– Не обращай внимания, – сказала Фанни. – Она ревнует меня к тебе... Говорит, что я себя гублю... Эти деревенские такой цепкий народ!.. Но готовит она превосходно, из-за одного этого стоит ее держать... Вот попробуй паштет из зайца!

Она резала паштет, откупоривала бутылку с шампанским, ухаживала за ним и забывала о себе, и при каждом ее движении поднимались до плеч рукава алжирской гандуры из мягкой белой шерсти, – она всегда носила ее дома. Сейчас, в гандуре, она напоминала ему ту Фанни, которую он встретил на бале-маскараде у Дешелета. Сидя в одном кресле, плотно прижавшись друг к другу, они ели с одной тарелки и говорили об этом вечере.

– Я с первого взгляда почувствовала к тебе влечение!.. – призналась она. – Мне хотелось схватить тебя за руку и сейчас же увести, чтобы на тебя не посягнули другие... А что подумал ты, когда меня увидел?..

Сначала он боялся ее, а потом страх сменился полным доверием и неожиданным ощущением близости.

– И ведь я же тебя ни о чем не спрашивал... – добавил он. – За что ты на меня рассердилась? За две строчки из Ла Гурнери?..

Она сдвинула брови точно так же, как тогда, на балу, затем тряхнула головой:

– Пустяки!.. Не будем больше об этом говорить... – И обвила ему шею руками. – Я ведь тоже поначалу побаивалась тебя... Я пыталась спрятаться от тебя, вовремя отступить... Но у меня не хватило сил, и теперь уже не хватит до конца жизни...

– Ну уж до конца жизни!

– Вот увидишь.

Он ответил ей улыбкой, скептической в меру своего возраста, и пропустил мимо ушей страстно, почти угрожающе звучащие слова: «Вот увидишь...» Но обнимала она его так кротко, так покорно! Госсен был твердо уверен, что из такого объятия он может высвободиться одним рывком...

А для чего, собственно, высвободиться? Ему было так хорошо в этой дышавшей негою комнате, сладко дурманило ласковое дыхание его возлюбленной, которое он ощущал на слипавшихся глазах, а перед глазами все еще летучими видениями мелькали ржавые леса, луга, мельничные жернова под струей зерна, весь нынешний проведенный на лоне природы, наполненный любовью день.

Утром его разбудил голос Машом, – она, не стесняясь, кричала, стоя у самой кровати:

– Он пришел!.. Ему нужно с вами поговорить!..

– То есть как поговорить?.. Меня же нет дома!.. Зачем ты егопустила?..

Не помня себя от бешенства, Фанни вскочила с постели и, полураздетая, в расстегнутом капоте, выбежала из комнаты, успев сказать Госсену:

– Лежи, лежи, дружок!.. Я сейчас...

Но он не стал ее дожидаться и почувствовал себя уверенно, только когда поднялся, оделся и сунул в ботинки свои сильные ноги.

Собирая вещи, разбросанные по всей этой темной комнате, в которой ночничок освещал остатки холодного ужина, он прислушивался к заглушаемому обоями гостиной крупному разговору. Мужской голос, вначале злобный, потом умоляющий, раскаты которого перешли в рыдания, в слезливую расслабленность, сменялся другим, и Жан узнал его не сразу: грубый, хриплый, он звучал ненавистью и произносил мерзкие слова, какими осыпают друг друга девицы в пивных.

Слова оскверняли ту любовную роскошь, с какой была обставлена эта комната, забрызгивали грязью ее чистый шелк. И сама женщина тоже запачкалась, стала в его глазах на одну доску с теми, к которым он всегда относился с презрением.

Фанни вошла, тяжело дыша, красивым жестом подбирая распущенные волосы.

– Что может быть глупее плачущего мужчины?.. – воскликнула она, но, увидев, что он стоит одетый, в исступлении крикнула: – Ты встал?.. Ложись!.. Сейчас же ложись!.. Я тебе приказываю!..

Затем она так же внезапно смягчилась и, притягивая его к себе и рукою и звуком голоса, проговорила:

– Нет, нет!.. Не уходи!.. Я не могу тебя так отпустить!.. Во-первых, я убеждена, что ты ко мне не вернешься...

– Конечно, вернусь... Что это тебе пришло в голову?..

– Поклянись, что ты на меня не рассердился, что ты вернешься... Я же тебя знаю!

Он дал слово, но в постель так и не лег, несмотря на ее мольбы и настойчивые уверения, что она у себя дома, что она свободна и никому отчетом в своих поступках не обязана. В конце концов она, видимо, примирилась с тем, что ему нужно идти, проводила его до дверей,

и сейчас в ней уже ничего не осталось от разъяренной менады, напротив, вид у нее был приниженный и виноватый.

Долгий и проникновенный прощальный поцелуй задержал их в передней.

– Ну так... когда же?.. – спросила она, стараясь заглянуть в самую глубину его глаз.

Он хотел было что-то ответить, конечно, солгать, лишь бы скорее уйти, но тут вдруг раздался звонок. Из кухни вышла Машом, но Фанни знаком остановила ее:

– Не надо!.. Не отворяй!..

И они, все трое, стояли молча, не шевелясь.

Послышался приглушенный вздох, затем шорох подсовываемого под дверь письма и медленно удаляющиеся шаги.

– Я же тебе говорила, что я свободна!.. На, прочти!..

Фанни передала своему возлюбленному только что распечатанное ею письмо, жалкое любовное послание, недостойное, малодушное, нацарапанное карандашом за столиком в кафе, письмо, в котором несчастный просил прощения за недавнюю дикую выходку, признавал, что у него нет на нее никаких прав, кроме того, которое она сама соизволит ему предоставить, на коленях молил не прогонять его, обещал принять все условия, покориться во всем... только бы не потерять ее навсегда! Господи, только бы не потерять ее!..

– Убедился?.. – спросила она с недобрый смехом, и этот смех преградил ей дорогу к его сердцу. Госсен мысленно упрекнул ее в бесчеловечности. Он не знал, что в душе любящей женщины есть место только для любимого человека, что все живущие в ней силы милосердия, доброты, отзывчивости, самоотвержения поглощает кто-нибудь один, единственное существо на земле.

– Зачем ты над ним издеваешься?.. Он написал тебе такое пламенное, душераздирающее письмо!.. – сказал Госсен и, протянув к ней руки, тихо и совершенно серьезно спросил: – Послушай, за что ты его прогоняешь?..

– Он мне не нужен... Я его не люблю.

– Но ведь он же твой любовник!.. Он окружил тебя всей этой роскошью, в которой ты живешь, в которой ты жила и раньше, без которой ты не можешь обойтись.

– Дружочек! – начала она знакомым ему задушевым тоном. – До тебя мне все здесь очень нравилось... А теперь я от всего этого устала, мне стыдно, меня тошнит... О, я знаю, что ты скажешь: ты – это несерьезно, ты меня не любишь... Но это уж мое дело... Хочешь не хочешь, а ты меня полюбишь.

Он ничего ей не ответил, назначил свидание на завтра и, сунув Машом в награду за паштет из зайца несколько луидоров, составлявших содержимое его студенческого кошелька, поспешил удалиться. Для него все здесь было кончено... Какое он имеет право нарушать привычный уклад жизни этой женщины и что может он предложить ей взамен того, что она из-за него потеряет?

Обо всем этом он написал ей в тот же день по возможности мягко, по возможности чистосердечно, не сознавая, однако, в том, что порвать с нею связь, отказаться от мимолетной и отрадной причуды его мгновенно заставило то бездушное, то нечистоплотное, чему он явился свидетелем: едва лишь минула ночь любви, как за стеной послышались рыдания обманутого любовника, а она в ответ хохотала и ругалась, как прачка.

В этом юнце, выросшем вдали от Парижа, в провансальской глуши, было что-то от отцовской жесткости, уживавшейся с крайней деликатностью, с крайней душевной восприимчивостью матери, и внешне он был ее живым портретом. Пример дяди Жана со стороны отца также долженствовал уберечь его от пагубных увлечений: беспорядочная жизнь и чудачества дядюшки почти разорили всю семью и чуть было не погубили ее честь.

Дядя Сезер! Достаточно было назвать Жану это имя и вызвать в его памяти семейную драму, и Жан пожертвовал бы и чем-либо несравненно более ему дорогим, нежели малень-

кий роман с Фанни, которому он с самого начала не придавал никакого значения. Однако расстаться с ней оказалось совсем не так просто.

Получив формальную отставку, она все же вновь появилась на его горизонте, – ее не обескуражили ни его нежелание с ней встречаться, ни запертая дверь, ни неумолимые ответы. «У меня совсем нет самолюбия...» – писала она ему. Она подстерегала его на пути в ресторан, ждала его у кафе, где он читал газеты. И при всем том ни одной слезы, ни единого укора. Если он был в компании, она довольствовалась тем, что шла за ним следом до тех пор, пока он не расставался со спутниками.

– Хочешь, проведем вместе вечер?.. Нет?.. Ну, хорошо, как-нибудь в другой раз.

И она уходила с покорной грустью фокусника, у которого фокус не удался, а Госсен упрекал себя в черствости и испытывал унижительное чувство оттого, что каждый раз лепетал ей неправду: экзамены на носу... совсем нет свободного времени... как-нибудь потом, если только она в состоянии ждать... На самом деле он рассчитывал, сдав экзамены, отдохнуть месяц на юге – авось она его за это время забудет.

К несчастью, после экзаменов Жан заболел. Прохаживаясь по коридорам министерства, он подхватил ангину, сначала не обратил на нее внимания – и разболелся не на шутку. В Париже он никого не знал, за исключением нескольких студентов, своих земляков, но и тех отдалила и рассеяла поглощавшая его страсть. Впрочем, теперь он нуждался в совершенно особой преданности, вот почему в первый же вечер у его кровати оказалась Фанни Легран, а затем в течение десяти суток она, ловкая, как опытная сиделка, не отходила от него ни на шаг, ухаживала за ним, не ощущая ни усталости, ни брезгливости, и осыпала нежными ласками, которые в часы сильного жара отбрасывали его к поре тяжелого заболевания, перенесенного им в детстве, заставляли его звать «тетю Дивонну» и говорить: «Спасибо, Дивонна!» – когда рука Фанни касалась его влажного лба.

– Это не Дивонна... Это я... Я – с тобой...

Она избавляла его от платных забот, от прижиганий, сделанных неловкими руками, от полосканий, приготовляемых в швейцарской, и Жан выздоровел благодаря ее расторопности, изобретательности, благодаря проворству ее осторожных и сладострастных рук. Спала она – не более двух часов – на диване, на студенческом диване, мягком, как тюремные нары.

– Милая Фанни! Что же ты не съездишь домой?.. – спросил он однажды. – Мне лучше... А то Машом, наверно, беспокоится.

Фанни засмеялась... Уплыла от нее Машом, и весь дом уплыл. Все продано – обстановка, носильные вещи, все, вплоть до постельных принадлежностей. Осталось только платье, то, что на ней, и немного дорогого белья, которое удалось припрятать ее служанке... Так что если он теперь ее выгонит, то она на улице.



### III

– На сей раз я, кажется, нашла то, что нужно... На Амстердамской, напротив вокзала... Три комнаты с большим балконом... Если хочешь, съездим посмотрим после твоей службы... Это высоко, на шестом этаже... Но ты внесешь меня на руках. Помнишь? Как тогда было хорошо!..

Оживившись от воспоминания, она терлась об его шею то одной щекой, то другой, старалась занять прежнее место в его жизни, когда-то ею завоеванное.

В меблированных комнатах, где царили нравы студенческого квартала, с беспрестанным хождением по лестнице девиц в сетках на голове и в стоптанных туфлях, в комнатах с фанерными перегородками, за которыми шла своя жизнь, со скопищем ключей, подсвечников, башмаков, жизнь вдвоем становилась невыносимой. Разумеется, не для нее. С Жаном она была бы рада ютиться на крыше, в подвале, хоть в водосточной трубе. Но щепетильность Жана пугалась соприкосновений с действительностью, о которых он, будучи холостяком, и не помышлял. Брачные союзы на одну ночь стесняли его, бросали тень на его союз с Фанни, вызывали у него почти такое же горькое и брезгливое чувство, какое он обыкновенно испытывал, стоя в зоологическом саду перед клеткой с обезьянами, передразнивавшими движения и выражения любви человеческой. Надоел ему и ресторан на бульваре Сен-Мишель, куда нужно было ходить два раза в день, надоела обширная зала, битком набитая студентами, учащимися Школы живописи и ваяния, художниками, архитекторами, которые не были с ним знакомы, но которым он за целый год успел примелькаться.

Отворив дверь, он мгновенно краснел, оттого что все взгляды устремлялись на Фанни, и входил, всем своим видом выражая конфузливый вызов, который появляется у молодого человека, когда он идет с женщиной. Кроме того, он опасался встречи с кем-нибудь из министерского начальства или с земляками. Ко всему этому примешивался еще и материальный вопрос.

– Как дорого!.. – сетовала она всякий раз, унося с собой счет за обед. – Если б мы обедали дома, я бы так вела хозяйство, что нам хватило бы этих денег на три дня.

– А кто нам мешает завести свое хозяйство?..

И они стали искать квартиру.

Вот это и есть ловушка. В нее попадают самые лучшие, самые порядочные, попадают из чистоплотности, из стремления к «семейному уюту», которое порождает домашнее воспитание и тепло домашнего очага.

Квартиру на Амстердамской они сейчас же сняли и пришли от нее в восторг, несмотря на то, что кухня и столовая выходили окнами на промозглый двор, куда из английского кабачка неслись запахи помоев и хлора, а спальня – на шумную гористую улицу, днем и ночью сотрясающуюся от стука фургонов, ломовых телег, фиакров, омнибусов, вздрагивающую от свистков приходящих и уходящих поездов, от слитного шума Западного вокзала, как раз напротив раскинувшего свою стеклянную крышу цвета грязной воды. Преимущество состояло в близости железной дороги, в том, что Сен-Клу, Вилль-д'Авре, Сен-Жермен – все эти зеленые станции на берегах Сены находились словно под их балконом. А балкон у них был поместительный и удобный, сохранивший от размаха прежних жильцов оцинкованный навес, выкрашенный под полосатый тик, – балкон унылый, протекавший в пору немолчно стучавших по навесу зимних дождей, но где было очень приятно обедать летом – на свежем воздухе, точно в домике где-нибудь среди швейцарских гор.

Квартиру надо было обставить. Жан отчасти посвятил в свои планы родных, и тетя Дивонна, которая исполняла у них в семье обязанности домоправительницы, прислала ему

денег, а в письме извещала, что в скором времени придут шкаф, комод и большое плетеное кресло, стоявшее до сих пор в так называемой Комнате Ветров.

Эту дальнюю комнату в его родном доме, в Кастле, он представлял себе ясно: испокон веков нежилая, с запертыми на задвижки ставнями, с запертой на засов дверь, по своему положению она была не защищена от порывов мистраля и потрескивала, как трещат стены жилого помещения на маяке. Там складывалось разное старье, все, что вытеснялось новыми приобретениями, которые делало каждое новое поколение.

Ах, если бы Дивонна знала, кто будет отдыхать в плетеном кресле, если б она знала, что в ящиках ампириного комода будут лежать шелковые нижние юбки и кружевные панталоны!.. Но мучившие Госсена угрызения совести потонули во множестве мелких радостей, связанных с новосельем.

Как приятно было в сумерках, после занятий в канцелярии министерства, взяв Фанни под руку, предпринимать походы на окраину, чтобы выбрать обстановку для столовой: буфет, стол и шесть стульев, или же кретоновые занавески с разводами для окна и для полога! Он готов был купить что попало, но Фанни смотрела в оба, пробовала стулья, проверяла, хорошо ли раздвигается стол, умело торговалась.

Она знала, где можно купить по фабричной цене полный набор кухонной утвари для небольшой семьи: четыре железные кастрюли и одну эмалированную для варки шоколада по утрам, но только ничего медного – медную посуду долго чистить; шесть металлических приборов, разливательную ложку и две дюжины тарелок английского фаянса, прочного и веселого. Все это сосчитано, заранее приготовлено и тщательно упаковано, как упаковывают игрушечную посуду. Она знала торговца, представителя крупной фабрики в Рубе, у которого можно было приобрести в рассрочку простыни, салфетки, скатерти, полотенца. Зорко следившая за тем, что выставлялось на витринах, не упускавшая ни одной распродажи обломков крушения, которые Париж вместе с пеной выбрасывает на свои берега, она купила по случаю на бульваре Клиши превосходную, почти совсем новую кровать такой ширины, что на ней можно было уложить в ряд семь дочерей людоеда.

Госсен тоже после службы пытался делать приобретения, но он ничего в этом не смыслил, не умел отказываться, не умел уходить с пустыми руками. Придя в магазин случайных вещей купить подержанный судок, за которым его послала Фанни, он вместо уже проданного судка принес люстру с подвесками, для гостиной, ни на что им не нужную, так как гостиной у них не было.

– Мы ее повесим на балконе... – в утешение ему сказала Фанни.

А какую радость им доставляло производить обмен, спорить из-за того, куда что поставить! А как они шумели, как они дико хохотали, как всплескивали, чуть не до потолка, руками, когда оказывалось, что, несмотря на всю их предусмотрительность, несмотря на то, что у них был составлен полный список необходимых закупок, что-нибудь да они забывали!

Ну вот, например, щипцы для сахара. Как можно обойтись в хозяйстве без щипцов для сахара?..

Но вот все уже куплено, расставлено по местам, занавески развешаны, настольная новенькая лампа заправлена – какой чудный вечер провели они на новоселье, как внимательно осмотрели все три комнаты, прежде чем лечь спать, и как весело смеялась Фанни, когда Жан запирает дверь, а она ему светит:

– Еще раз поверни, еще... Получше запири... Чтобы нам было уютнее!..

Так началась для них новая, упоительная жизнь. После службы он летел домой, мечтая поскорей переобуться и подсесть к камину. В черной уличной слякоти он представлял себе их ярко освещенную теплую комнату, которую оживляла старая провинциальная мебель, – Фанни заочно окрестила ее хламом, а это оказались прелестные старинные вещи, особенно – изящной работы шкаф в стиле Людовика XVI с рисунками, изображавшими провансальские

праздники, пастушков в ярких полукафтанах, танцы под свирели и тамбурины. Эти старомодные вещи, к которым Жан привык еще в детстве, напоминали ему отчий дом и освящали его новое жилище, уютom которого он наслаждался.



Едва слышав его звонок, Фанни, чистенькая, кокетливая, выбегала, как она выражалась, «на палубу». На ней было черное шерстяное платье, готовое, но отлично на ней сидевшее, платье женщины, одевающейся скромно, но со вкусом; рукава она засучивала, а сверху надевала широкий белый передник: готовила она сама, прислуга делала только черную работу, от которой трескаются и грубеют руки.

Фанни была отличная стряпуха, знала уйму рецептов северных и южных блюд и так же умела разнообразить меню, как репертуар народных песен, которые она после обеда, повесив передник на кухонную дверь, а дверь притворив, напевала своим надтреснутым страстным контральто.

Внизу текла и гремела улица. Холодный дождь стучал по оцинкованному навесу балкона. Госсен, развалившись в кресле и протянув ноги поближе к огню, видел перед собой окна вокзала, а в окнах – фигуры служащих, склонившихся над столами и писавших при матовом свете ламп с большими рефлекторами.

Ему было хорошо; ему было приятно качаться в кресле. Что же, он был влюблен? Нет. Он был благодарен за ласку, которой его окружали, за всегда ровную нежность. Как он мог так долго лишать себя этого блаженства из боязни, которая теперь казалась ему смешной: из боязни опуститься, связать себя? Разве теперь его жизнь не стала чище, чем когда он, рискуя заразиться, заводил одну случайную связь за другой?

И в будущем он не видел никакой для себя опасности. Через три года он уедет, и разрыв произойдет сам собой, без всяких потрясений. Фанни предупреждена. Они об этом говорили, как говорят о смерти, о далекой, но неотвратимой неизбежности. Смущало Госсена только одно: как огорчатся близкие, когда узнают, что он живет не один, как возмутится его непримиримый и вспыльчивый отец.

А впрочем, откуда они узнают? Жан ни с кем не встречается в Париже. Отца, «консула», как его называли, круглый год удерживали в Кастле надзор за крупным именем, из которого он старался извлечь побольше дохода, и упорная борьба за спасение виноградников. Больная мать без посторонней помощи не могла двинуться, ступить шагу, а потому хозяйство вела Дивонна, и она же воспитывала двух его сестреноч-близнецов Марту и Марию; тяжелые эти роды, эта неожиданная двойня поглотили жизненные силы роженицы. Что касается дяди Сезера, мужа Дивонны, то это был большой ребенок, и родные ни за что не отпустили бы его одного.

Фанни знала теперь всю семью Жана. Когда Жан читал присланное из Кастле письмо с детскими каракулями в конце, она заглядывала через его плечо и умилялась вместе с ним. А об ее жизни он ничего не знал и не расспрашивал ее. В нем говорил бессознательный, благородный эгоизм молодости, не знающий ревности, не знающий никаких опасений. Занятый только собой, он не мешал своей жизни бить ключом, размышлял вслух, изливал душу, а Фанни между тем безмолвствовала.

Так шли дни, шли недели, и блаженное их спокойствие только однажды нарушило одно обстоятельство, взволновавшее их обоих, но по-разному. Она почувствовала себя беременной и с такой радостью сообщила об этом Жану, что ему оставалось только разделить ее. В

глубине души он струсил. Стать отцом, когда он еще так молод!.. И как ему следует поступить?.. Должен ли он усыновить ребенка?.. Какая это связь, как это усложнит его жизнь!

Перед его глазами внезапно вырисовалась цепь, тяжелая, холодная, нерасторжимая. Ночью оба не спали. С открытыми глазами лежали они рядом в большой постели, лежали и думали, и были они в это время за тысячу миль друг от друга.

К счастью для Жана, тревога оказалась ложной, и вновь потекла их мирная жизнь, очаровательная в своей замкнутости. А там и зима прошла, вернулось наконец настоящее солнце, их жилье еще похорошело, увеличившись за счет крытого балкона. Там они обедали и смотрели на отливавшее зеленью небо, прорезаемое пронзительным визгом ласточек.

Улица пышала жаром и доносила до них весь шум из соседних домов, но зато ветер дарил им малейшее свое дуновение, и они могли сидеть здесь бесконечно долго, прижимаясь друг к другу коленями и ничего не видя вокруг. Жан вспоминал такие же теплые вечера на берегу Роны или мечтал о том, как он будет служить консулом в дальней жаркой стране, представлял себе, как он едет туда на корабле и как навес над палубой колышется от глубокого дыхания морского ветра. И когда у самых его губ слышался шепот незримой ласки: «Ты меня любишь?..» – ему, чтобы ответить: «Очень люблю!..» – приходилось возвращаться издалека. Вот что значит связать свою судьбу с молодым – у молодых чем только не набита голова!

На том же балконе, за железной решеткой, увитой ползучими растениями, ворковала другая парочка – г-н и г-жа Эттема, муж и жена, толстяк и толстуха, их поцелуи раздавались громко, как пощечины. Они удивительно подходили друг к другу и по возрасту, и по вкусам, и по комплекции. Трогательное впечатление производили эти влюбленные уже далеко не первой молодости, когда они, опершись на балюстраду, тихо пели дуэтом какой-нибудь старинный душещипательный романс:

Я слышу, как она в тиши ночной вздыхает...

О дивный, сладкий сон, приснись еще хоть раз!

Фанни эти люди нравились, она не прочь была с ними познакомиться. Уже несколько раз она и соседка, свесившись над почерневшими балконными перилами, обменивались улыбкой влюбленных и счастливых женщин. Но мужчины, как всегда, оказались не столь общительны, и знакомство все не завязывалось.

Однажды перед вечером Жан возвращался с набережной Орсе и вдруг на углу Королевской услышал, что кто-то его окликает. День стоял чудесный; в час прогулки в Булонский лес, когда роскошный закат теплым светом заливал нежащийся Париж, этот поворот бульвара ни с чем не может сравниться по красоте.

– Прекрасная молодость! Идите сюда и чего-нибудь выпейте... Мне доставляет удовольствие на вас смотреть.

Жана обхватили ручки человека, который сидел под навесом кафе, выдвинувшего на тротуар три ряда столиков. Жан не сопротивлялся – ему лестно было слышать, как вокруг него провинциалы и иностранцы, в полосатых костюмах и круглых шляпах, с любопытством шепчут имя Каудала.

Скульпторпил абсент, что очень шло к его военной выправке и офицерской орденской ленточке, а напротив сидел приехавший накануне инженер Дешелет, все такой же загорелый, моложавый, скуластый, с добрыми глазками, которые на его худом лице казались не такими маленькими, с ноздрями гурмана, которые словно вынюхивали, чем пахнет в Париже. Как только молодой человек сел за столик, Каудаль с комической яростью показал на него:

– До чего красив этот зверь!.. Подумать только, что ведь и мне когда-то было столько же лет и волосы у меня вились точно так же... Ах, молодость, молодость!..

– Все та же песня? – спросил Дешелет, добродушно посмеиваясь над помешательством друга.

– Не смейтесь, мой дорогой... Все, что у меня есть – медали, кресты, звание академика, и то и се, и пятое и десятое, – я променял бы вот на эти волосы и румянец... – Тут он со свойственной ему резкостью движений потянулся к Госсену. – А что вы сделали с Сафо?.. Ее что-то не видно.

Глаза у Жана стали круглыми от изумления.

– Вы уже с ней не живете?..

Видя растерянность Госсена, Каудаль уже нетерпеливо прибавил:

– Ну, Сафо, Сафо!.. Фанни Легран... Вилль-д'Авре...

– О, с ней у меня давно все кончено!..

Зачем он солгал? От стыда, из чувства неловкости, которое вызывало у него прозвище «Сафо» и которое мешало ему говорить о своей возлюбленной с мужчинами, а, быть может, еще из желания узнать о ней такие подробности, которые иначе никто бы ему не сообщил.

– А, Сафо!.. Так она, еще, значит, блистает? – рассеянно спросил Дешелет, счастливый тем, что он снова видит лестницу Мадлен, цветочный рынок и длинный ряд бульварных аллей, сквозивших между зеленью деревьев.

– А разве вы не помните, как хороша она была у вас в прошлом году?.. Ей изумительно шло одеяние феллашки... Осенью я ее встретил: она завтракала с этим красивым юношей у Ланглуа; вы бы сказали: это новобрачная.

– Сколько же ей лет?.. Знаем мы ее давно...

Каудаль задумчиво поднял голову:

– Сколько лет?.. Сколько лет?.. Погодите... В пятьдесят третьем, когда она мне позировала, ей было семнадцать... А сейчас семьдесят третий. Вот и считайте.

Внезапно глаза у него загорелись.

– Ах, если б вы ее видели двадцать лет назад!.. Высокая, стройная, красиво очерченный рот, твердая линия лба... Руки, плечи еще худоваты, но это как раз подходит к Сафо... А какая женщина, какая любовница!.. Какое наслаждение доставляло ее тело, какой яркий огонь можно было высечь из этого кремня, что это была за клавиатура – ни единой западающей клавиши!.. «Все звуки лиры», – писал о ней Ла Гурнери.

Жан, сильно побледнев, спросил:

– Как, разве он тоже был ее любовником?..

– Кто, Ла Гурнери?.. Еще бы! Сколько я из-за этого перестрадал!.. Четыре года мы с ней жили, как муж и жена, четыре года я ее лелеял, не жалел денег на ее прихоти... Учитель пения, учитель музыки, учитель верховой езды – каких только не было у нее причуд!.. Я подобрал ее на улице, ночью, около Рагаша, где шла танцулька, и вот когда я ее обточил, отгранил, отшлифовал, как драгоценный камень, фатоватый рифмач, которого я считал своим другом, который каждое воскресенье у меня обедал, сманил ее!

Он шумно вздохнул, словно для того, чтобы выдохнуть застарелую обиду отверженного любовника, все еще дрожавшую в его голосе, затем, уже более спокойным тоном, продолжал:

– Судьба его все же наказала за подлость... Прожили они вместе три года, и это была не жизнь, а сущий ад. Этот сладкопевец оказался на поверку скрягой, злоюкой, маньяком. Если б вы видели, как они дрались!.. Когда вы к ним приходили, она вас встречала с повязанным глазом, он – с исцарапанным лицом... Но это были еще цветочки, ягодки пошли, когда он задумал бросить ее. Она впилась в него, как клещ, ходила за ним по пятам, взламывала дверь его квартиры, ждала его, лежа поперек его тюфяка. Как-то раз, зимой, он со всей своей оравой кутил у Фарси, а она пять часов простояла внизу... Ну как тут не сжалиться?.. Но элегический поэт был неумолим и в один прекрасный день, чтобы избавиться от нее, вызвал

полицию. Что, хорош гусь?.. А в заключение романа, в благодарность за то, что эта красивая девушка отдала ему лучшие годы жизни, тонкость своего ума и прелесть тела, он обрушил на нее том дышащих злобой, брызжущих ядовитой слюной, упрекающих, проклинающих стихов – «Книгу о любви», лучшую свою книгу...

Госсен сидел неподвижно, выгнув спину, и по капельке втягивал в себя через длинную соломинку холодный напиток. Ему, наверное, налили яду; внутри у него все заледенело.

Стояла теплынь, а Госсена бил озноб; его остановившиеся глаза смотрели в тускнеющую даль – там беспрерывно мелькали тени, у бульвара Мадлен стояла поливочная бочка, друг другу навстречу по влажной земле, точно по вате, бесшумно катились экипажи. Париж онемел для Госсена – Госсен слышал только то, что говорилось за столиком. Сейчас, подливая яду, говорил Дешелет:

– Какая ужасная вещь – разрыв!..

Его обычно спокойный, насмешливый голос звучал мягко, звучал безграничной жалостью...

– Люди прожили вместе несколько лет, спали рядом, сплетались мечтами, сплетались телами. Все говорили, все отдавали друг другу. Переняли друг у друга привычки, манеру держаться, манеру говорить, стали даже похожи лицом. Сжились друг с другом... Действительно, спутались... И вдруг люди расстаются, отрываются друг от друга... Как они на это идут? Как у них хватает мужества?.. Я бы не мог... Да пусть женщина меня обманет, оскорбит, опозорит, запачкает, но если она со слезами скажет мне: «Останься!..» – я не уйду... Вот почему я всегда беру любовницу только на одну ночь... «Никаких завтра», как говаривали у нас в старину... Или женись. Это уже бесповоротно и гораздо более опрятно.

– «Никаких завтра»... «никаких завтра»... Легко сказать! Есть женщины, на которых больше одной ночи незачем и тратить... Но она...

– Я и ей не предоставил ни одной льготной минуты... – сказал Дешелет с добродушной улыбкой, которая несчастному любовнику показалась, однако, отвратительной.

– Значит, вы не ее любимый тип, а раз этого нет... Кого эта девушка полюбит, в того она вцепляется... Она домовита... Ей просто не везет. Сошлась с романистом Дежуа – он умер... Перешла к Эдзано – он женился... Затем появился бывший натурщик, гравер, красавец Фламан, – она ведь равнодушна к таланту и к красоте, – но вы, конечно, знаете эту ужасную историю...

– Какую историю?.. – сдавленным голосом спросил Госсен и, потягивая через соломинку напиток, стал слушать любовную драму, несколько лет назад взбудоражившую Париж.

Гравер был беден, сходил с ума от любви к Сафо. Боясь, что она его бросит, Фламан, чтобы окружить ее роскошью, занялся подделкой кредитных билетов. Попался он очень скоро, и его арестовали вместе с любовницей; ему дали десять лет тюремного заключения, а ее полгода продержали в Сен-Лазар, затем она была оправдана по суду, и ее выпустили на свободу.

Каудаль напомнил Дешелету, который в свое время следил за процессом, как ей шла шапочка заключенной в Сен-Лазар, как твердо, как вызывающе она себя держала на суде, – она до конца осталась верной своему возлюбленному... А ее ответ старому дураку – председателю суда, а воздушный поцелуй, который она послала Фламану поверх жандармских треуголок, а ее голос, от которого дрогнули бы и камни: «Не горюй, дружок!.. Счастье нам еще улыбнется, мы с тобой еще проживем!..» Как бы то ни было, это злоключение отбило у бедной девушки охоту к совместной жизни.

– Потом у нее появились богатые любовники, но она меняла их каждый месяц, а то и каждую неделю, и уже ни один из них не принадлежал к миру искусств... Мира искусств она стала с тех пор опасаться... По-моему, она только меня и навещала по старой памяти...

Изредка забегала ко мне в мастерскую выкурить папиросу. Потом несколько месяцев о ней не было ни слуху ни духу, и вдруг как-то раз смотрю: завтракает вот с этим красавчиком и вкладывает ему в рот виноградинки. «Ну, – думаю, – опять попалась моя Сафо!»

Жан больше не мог слушать. Его не покидало ощущение, будто его отравили и он умирает. Уже не лед был у него в груди, но огонь, и огонь поднимался к голове, а в голове гудело, – казалось, она вот сейчас треснет, как раскаленный добела лист железа. Переходя через дорогу, он несколько раз рисковал угодить под колеса экипажей. Кучера бранились... И чего они из себя выходят, эти болваны?..

Проходя по рынку Мадлен, он был взволнован запахом гелиотропа – это был любимый цветок Фанни. Чтобы поскорей уйти от этого запаха, он прибавил шагу и, разъяренный, с разбитым сердцем, думал вслух:

– Так вот какова моя любовница!.. Красивая стерва... Сафо, Сафо!.. Как я мог целый год жить с тобой!..

Он в бешенстве повторял ее прозвище и наконец вспомнил, что встречал его наряду с кличками других девиц в разных газетенках, в смехотворном «Готском альманахе» любовных похждений: Сафо, Кора, Каро, Фрина, Жанна из Пуатье, Тюлень...

Вместе с четырьмя буквами мерзкого прозвища перед его глазами с быстротою стока нечистот промелькнула вся жизнь этой женщины... Мастерская Каудалея, драки с Ла Гурнери, ночные караулы возле притонов или на тюфяке у поэта... Затем красавец гравер, фальшивомонетничество, суд... Шапочка заключенной, которая так ей шла, и воздушный поцелуй фальшивомонетчику: «Не горюй, дружочек!..» «Дружочек»! Это ласковое название она дала и ему... Какой позор!.. Нет, шалишь, он смахнет всю эту грязь!.. И в довершение всего неотвязный запах гелиотропа, преследовавший его в этот сумеречный час, такой же бледно-лиловый, как и этот цветок!..

Вдруг Госсен заметил, что он все еще бродит по рынку, точно это был не рынок, а палуба корабля. Он ускорил шаг и духом домчался до Амстердамской, твердо решив, что он выгонит эту женщину, без всяких объяснений выбросит ее на улицу, выплюнет ей вслед ее постыдную кличку. Но недалеко от дома он заколебался, призадумался, потом сделал еще несколько шагов вперед... Она начнет кричать, рыдать, расплещет по всему дому уличный свой жаргон, как это случилось там, на улице Аркад.

А не написать ли ей?.. Правильно! Лучше написать, разделаться с ней в нескольких резких словах... Он зашел в английский кабачок, безлюдный и мрачный при свете только-только заживавшегося газа, присел за грязный столик, напротив единственной посетительницы – девицы, лицо которой напоминало череп, – она жадно ела копченую лососину и ничего не пила. Он спросил себе кружку пива и, не притронувшись к ней, начал писать письмо. Но слова теснились у него в голове, стремясь вылететь одновременно, а выцветшие и высохшие чернила плохо его слушались.

Он три раза начинал и три раза рвал бумагу в клочки, наконец, так ничего и не написав, направился к выходу, как вдруг девица с пухлыми, чувственными губами робко спросила:

– Вы не будете пить?.. Можно мне?..

Он утвердительно кивнул головой. Девица набросилась на кружку и осушила ее одним стремительным глотком, свидетельствующим о бедственном положении, в каком находилось это обиженное судьбой существо: у нее хватило денег, только чтобы утолить голод, но выпить пива – это было ей уже не по карману. Заговорившее в Госсене чувство жалости умирило его, внезапно открыло ему глаза на горькую долю женщины. И он стал рассуждать уже более гуманно, он попытался хладнокровно осмыслить свое несчастье.



Прежде всего, Фанни ему не лгала. До сих пор он ничего не знал о ее прошлом только потому, что оно нисколько его не интересовало. В чем он имеет право ее упрекнуть?.. В предварительном заключении в Сен-Лазар?.. Но ведь ее оправдали, чуть не на руках вынесли из зала суда!.. Так в чем же дело! В том, что у нее были мужчины до него?.. А разве он об этом не знал?.. Так из-за чего же он бесится? Из-за того, что ее любовники – люди известные, знаменитые, что он может с ними встретиться, поговорить, полюбоваться их портретами на витринах? Можно ли ставить ей в вину, что она отдавала предпочтение именно им?

И из тайников его существа поднималась низкая, постыдная гордость при мысли, что он делил Фанни с великими художниками, что она им нравилась. В этом возрасте человек никогда не бывает уверен в себе, он ничего еще толком не знает. Он любит женщин, ему доставляет наслаждение любить их, но ему недостает ни наблюдательности, ни опыта. Юный любовник, показывая вам портрет своей возлюбленной, ловит ваш взгляд, ищет одобрения. После того как Госсен узнал, что Сафо воспел Ла Гурнери, что Каудаль увековечил ее в мраморе и в бронзе, она выросла в его глазах, вокруг ее головы засиял нимб.

Внезапно его вновь охватил порыв ярости: сорвавшись с бульварной скамейки, на которой он сидел и думал под детский крик и разговоры жен рабочих, пыльным июньским вечером пришедших сюда поболтать, он принялся ходить взад и вперед и в гневе рассуждать вслух... Бронзовая фигура Сафо... Ох уж эта бронза, всюду продающаяся за деньги, пошлая, как звуки шарманки, как самое имя «Сафо», на первоначальную прелесть которого наслоилась вековая грязь легенд, превративших имя богини в символ извращенности!.. Какая мерзость, боже мой!..

Так он ходил долго, то смиряясь, то вновь разъярясь от этого водоворота мыслей, от столкновения противоречивых чувств. Бульвар становился сумрачным и безлюдным. В теплом воздухе потянуло чем-то приторно-сладким. И Госсен вдруг узнал ворота большого кладбища, куда он год тому назад пришел вместе со всей молодежью, чтобы присутствовать при открытии памятника работы Каудаль на могиле романиста Дежуа, любимца Латинского квартала, автора «Сандеринетты». Дежуа, Каудаль! Эти имена теперь уже звучали для него совсем по-иному, и вся история курсистки и ее увлечения, после того как он узнал закулисную сторону подобных увлечений, после того как он услышал из уст Дешелета гнусное определение, которое получили эти браки на тротуаре, представлялась ему зловещей и лживой.

Госсен испугался темноты, казавшейся еще чернее от соседства смерти. Он пошел обратно, задевая женские кофточки, бесшумно, словно крылья ночи, пронесившиеся мимо него, задевая заношенные юбки, мелькавшие у дверей вертепов, матовые стекла которых прорезали широкие полосы света, и ему, точно в волшебном фонаре, было видно, как ходили, кружили в обнимку парочки... Который теперь час?.. Госсен падал от усталости, как новобранец к концу перехода. Душевную боль приглушала боль в ногах. Скорей бы лечь, уснуть!.. А проснувшись, он холодно, спокойно скажет этой женщине: «Ну вот... Теперь я знаю, кто ты... Мы друг перед другом ни в чем не виноваты, но совместная наша жизнь уже невозможна. Нам надо расстаться...» Чтобы спастись от ее преследований, он поедет

на родину, обнимет мать, сестер, и ветер с Роны, вольный, животворный мистраль, сдует с него всю грязь и всю жуть кошмарного сна.

Устав от ожидания, Фанни спала крепким сном, несмотря на то, что в лицо ей бил свет от лампы; около нее лежала на простыне раскрытая книга. Приход Жана не разбудил ее. Остановившись возле самой кровати, Жан принялся с любопытством рассматривать Фанни, точно чужую, незнакомую женщину.

Красива, ах, до чего красива! Руки, грудь, плечи – нежно-янтарного цвета, и нигде ни единого пятнышка, ни одной родинки, ни единого рубчика. Но на ее красноватых веках, – быть может, тому виной роман, который она читала, а может быть, тревога ожидания, – в чертах ее лица, обмякших во время сна оттого, что их уже не держала в напряжении негибаемая воля женщины, которая хочет, чтобы ее любили, разлита такая усталость и такая доверчивость! Ее возраст, вся ее история, ее извороты, причуды, «спутыванья», Сен-Лазар, побои, слезы, страхи – все это читалось на лице. Все было сейчас на виду: и синие тени, которые оставляют наслаждения и бессонные ночи, и складка пресыщенности, оттягивавшая нижнюю губу, несвежую, потертую, как закраина колодца, откуда весь околоток берет воду, и едва заметные припухлости, из которых потом образуются морщины старости.

Предательство, совершаемое сном, и окутывавшая его мертвая тишина – все это было необычайно, все это было зловеще. Ночное поле битвы со всем его явным ужасом и с тем, который только еще предугадывается в неопределенных колебаниях мрака...

И вдруг бедный мальчик почувствовал, что к горлу его подступают, что его душат слезы.

## IV

Они обедали при открытом окне, под долгий визг ласточек, прощавшихся с угасавшим днем. Жан молчал, но готов был в любую минуту заговорить о том тяжелом, что после встречи с Каудалем угнетало его самого и чем он, хотя и молча, мучил Фанни. Заметив, что он не поднимает глаз, что он напустил на себя равнодушие и, по видимости, ни к чему не проявляет интереса, она в конце концов догадалась и предупредила его:

– Послушай! Я знаю, что ты собираешься мне сказать... Пощади нас обоих, прошу тебя!.. Так же никаких сил не хватит... Ведь все умерло, я никого, кроме тебя, не люблю, ты у меня один на всем свете.

– Если бы прошлое для тебя действительно, как ты выражаешься, умерло...

Он силился заглянуть в самую глубину ее прекрасных глаз зыбкого серого цвета, менявшего оттенки в зависимости от смены впечатлений.

– ...ты бы не хранила вещей, которые тебе о нем напоминают... да, да, всего, что там, на верхней полке, в шкафу...

У серых глаз появился черный бархатистый отлив.

– Тебе и это известно?

Значит, ей нужно найти в себе силы, чтобы проститься со всей этой грудой карточек и писем от поклонников, со всем этим блистательным любовным архивом, уцелевшим после стольких разгромов!

– А ты мне потом будешь верить?

Его недоверчивая улыбка раззадорила ее, и она достала покрытую лаком шкатулку, резная оковка которой, выглядывавшая между аккуратно сложенными стопками дамского белья, последнее время сильно занимала ее возлюбленного.

– Делай что хочешь – сожги, порви...

Но Госсен долго не открывал шкатулку, – он занялся рассматриваньем цветущих вишен, сделанных из розового перламутра, и летящих аистов на крышке, – а потом вдруг резким движением повернул ключик, и крышка взлетела. Кажется, здесь были представлены все размеры карточек и все виды почерка. Цветная бумага с золотыми буквами вверху, пожелтевшие от времени записки, потрескавшиеся на сгибах, карандашные каракули на листках из записной книжки и на визитных карточках – во все это, сложенное как попало, в одну кучу, точно в ящике, в котором постоянно роятся и перекладывают вещи с места на место, он запустил дрожащие руки...

– Дай мне. Я сожгу на твоих глазах.

Она проговорила это срывающимся от волнения голосом, присев на корточки у камина и поставив на пол зажженную свечку.

– Ну?..

– Нет... погоди... – сказал он и, словно от стыда понизив голос до шепота, проговорил: – Я хочу прочесть...

– Для чего? Тебе будет еще больнее...

Она думала только о том, что ему будет тяжело, а не о том, что неделикатно выведывать секреты чужих увлечений, тайную исповедь любивших ее. Фанни на коленях подползла к нему и, уголком глаза следя за ним, тоже начала читать.

Вот десять страниц, в 1861 году исписанных неторопливым, вкрадчивым почерком Ла Гурнери; в этом письме к возлюбленной поэт, которого посылали в Алжир для того, чтобы он представил официальный и поэтический отчет о путешествии императора и императрицы, дал блестящее описание празднеств.

Алжир, роившийся, вышедший из берегов, – Багдад «Тысячи и одной ночи»; вся Африка, сбегавшаяся, сгрудившаяся вокруг города, где двери домов хлопали так, словно на город налетел самум... Караван негров и верблюдов, нагруженных каучуком, раскинутые шатры из шерстяной ткани, запах человеческого мускуса над всей этой обезьяньей породой, ночевавшей на берегу моря, по ночам плясавшей вокруг огромных костров и каждое утро расступавшейся, давая дорогу южным царькам, прибывавшим с чисто восточной торжественностью, будто волхвы; нестройная музыка: тростниковые дудки, хриплые барабачики; военные отряды вокруг трехцветного знамени пророка... А сзади негры вели в поводу коней, предназначавшихся в дар *имберадору*, – в шелковой сбруе, под расшитыми серебром попонами; от каждого их движения звенели бубенчики и наборы уздечек...

Дар поэта все изображал живо и картинно. Слова сверкали на странице, как драгоценные камни без оправы, которые рассматривают на листе бумаги ювелиры. Женщина, стоявшая сейчас на коленях, имела все основания гордиться тем, что перед ней рассыпали такие сокровища. Значит, поэт и вправду любил ее, раз, несмотря на всю занимательность торжеств, он думал только о ней и умирал с тоски без нее:

«Я видел во сне, будто я с тобой, на улице Аркад, на большом диване. Ты была раздета, и ты безумствовала, ты стонала от восторга под моими ласками, и вдруг я проснулся: я катаюсь по ковру на террасе, а надо мною звездная ночь. Крик муэдзина с ближнего минарета взлетал яркой, прозрачной ракетой, не столько молитвенной, сколько сладострастной, и я, все еще во власти сна, улавливал в этом крике твой голос...»

Какая недобрая сила толкала Госсена продолжать чтение, невзирая на смертельную ревность, от которой у него побелели губы и дергались руки? Бестревожным, осторожным движением Фанни пыталась взять у него письмо, но он прочитал его до конца, потом другое, потом третье – читал и бросал с пренебрежительным безразличием, с пренебрежительным равнодушием, не глядя на пламя, разгоравшееся в камине от страстных лирических излияний большого поэта. Порой в этом разливе любви, доходившей при африканской температуре до точки кипения, лиризм влюбленного пятнали казарменные сальности, которые, несомненно, изумили бы и ужаснули светских поклонниц «Книги о любви», проникнутой утонченным спиритуализмом, чистым, как серебряный рог Юнгфрау.

Ах, какая мука! Госсен останавливался именно на этих местах, на этих брызгах грязи, не чувствуя той нервной дрожи, какая всякий раз пробегала по его лицу. У него даже хватило самообладания посмеяться над постскриптумом, следовавшим за ослепительным рассказом о празднестве в Айссау:

«Я перечел письмо... Кое-что недурно. Сохрани его – оно может мне пригодиться...»

– У этого господина ничего зря не пропадало! – заметил Жан и перешел к другому листку, исписанному тем же самым почерком: тут Ла Гурнери холодным тоном делового человека требовал возвратить ему сборник арабских песен и туфли из рисовой соломы. Это был конец их романа. Да, Ла Гурнери умеет рвать отношения; по всему видно – сильный человек.

Жан без передышки осушал это болото с его теплыми нездоровыми испарениями. Стемнело; Жан поставил свечу на стол, и при этом свете он пробегал теперь коротенькие неразборчивые записочки, точно нацарапанные шилом, которое держали чьи-то толстые пальцы, от внезапности желания или злобы то и дело протыкавшие и рвавшие бумагу. Начало связи с Каудалем, свидания, ужины, поездки за город, затем ссоры, мольбы о возврате, вопли отчаяния, забористая, непристойная брань пьяного мастерового, неожиданно прерываемая шутками, смешными выражениями, упреками, в которых слышалось рыдание, – словом, здесь было обнажено то крайнее малодушие, которое проявил великий скульптор, когда Фанни порвала с ним, когда она от него ушла.

Огонь, поглотив все это, взметнул длинные багровые струи – это сгорали, потрескивали и дымились плоть, кровь, слезы гениального человека. Но Фанни это не трогало – она не отрываясь смотрела на своего юного возлюбленного, и ей сквозь одежды передавалась его горячка. Он наткнулся на портрет пером, подписанный Гаварни, со следующей надписью: «Другу моему Фанни Легран. Трактир в Дампьере. В дождливый день». Умное лицо, страдальческое выражение, ввалившиеся глаза и в них – горечь опустошенности.

– Кто это?

– Андре Дежуа... Я его берегла из-за надписи...

Госсен сделал такое движение, словно хотел сказать: «Можешь его оставить», – но выражение лица у него было до того натянутое и до того несчастное, что она взяла портрет и, разорвав на мелкие клочки, бросила в огонь, а он тем временем углубился в чтение писем романиста – в эту скорбную сюиту, рождавшуюся на зимних пляжах, на курортах, где писатель лечился и изнывал от душевной боли, доходившей до боли физической, где он, вдали от Парижа, бился головой об стену в поисках темы и, несмотря на то, что всяческие волнения были ему запрещены, перемежал просьбы выслать ему лекарства и рецепты, материальные и деловые заботы, корректуры и переписанные векселя одним и тем же воплем страсти и восторга перед прекрасным телом Сафо.

Жан бормотал с простодушной яростью:

– Да что это они так из-за тебя?..

В этом для него был весь смысл отчаянных писем, свидетельствовавших о крушении выдающихся личностей – таких, которым завидуют юноши и о которых мечтают романтически настроенные женщины... Да, что с ними со всеми творилось? Какую чашу давала она им испить?.. Он терзался, как терзается связанный по рукам и ногам человек, на глазах у которого оскорбляют любимую женщину. И все же он не решался осушить залпом содержимое этой шкатулки.

Теперь настала очередь гравера, жалкого, ничтожного, получившего известность только благодаря «Судебной газете», обязанного местом в ковчежце только великой любви к нему этой женщины. Порочившие ее письма из Маза своею глупостью, нескладностью, душещипательностью напоминали письма служивого к своей односельчанке. Однако сквозь романсовые клише проступало искреннее чувство, уважение к женщине, самоотречение, выгодно отличавшее этого каторжника от других поклонников Фанни, сказывавшееся в том, что он просил у Фанни прощения за то, что из любви к ней пошел на преступление, или в том, что он тотчас по вынесении приговора, прямо из канцелярии суда написал ей о своей радости, что она оправдана и на свободе. Он не роптал. Благодаря ей он целых два года наслаждался таким полным, таким безоблачным счастьем, что одного воспоминания о нем довольно, чтобы наполнить всю его дальнейшую жизнь, чтобы смягчить постигший его удар судьбы. А в конце письма он обращался к ней с просьбой:

«Ты знаешь, что на родине у меня остался ребенок. Мать его давно умерла, и он живет у одной престарелой родственницы, в таком захолустье, куда весть обо мне, конечно, не долетит. Я послал ему все деньги, какие у меня оставались, и написал, что уезжаю в далекое путешествие. И вот я тебя прошу, дорогая Нини: хоть изредка справляйся о несчастном малыше и пиши мне о нем...»

Доказательством внимания к граверу со стороны Фанни служило его благодарственное письмо и еще одно, написанное совсем недавно, около полугода тому назад:

«Спасибо тебе за то, что пришла!.. Как ты была красива, как хорошо от тебя пахло, а я стоял перед тобой в арестантском халате, и мне было так стыдно!..»

– Значит, ты продолжала с ним видеться? – с бешеной злобой спросил Госсен.

– Кое-когда, из жалости...

– Уже после того, как мы сошлись?..

- Да, один раз, всего один раз, в комнате для свиданий... Видеться можно только там.
- Какая же ты добрая!..

Мысль, что, невзирая на их связь, она ходила к фальшивомонетчику, особенно возмущала Госсена. Он ничего не сказал ей из самолюбия и вылил весь свой гнев на последнюю перевязанную голубой ленточкой пачку писем, написанных женским бисерным почерком с наклоном вправо.

«После бега колесницы я переодеваюсь... Приходи ко мне в уборную...»

- Не надо, не надо!.. Не читай!..

Подпрыгнув, она вырвала у него из рук всю связку, а он все еще ничего не понимал, даже когда она снова опустилась перед ним на колени, краснея от стыда и от того, что на нее падал отсвет пламени.

– Я была тогда молода. Это Каудаль... сумасброд из сумасбродов... Я исполняла его желание.

Только тут он понял все и помертвел.

- Ах да!.. Сафо!.. «Все звуки лиры...»

Он оттолкнул ее ногой, точно грязное животное:

- Оставь меня, не прикасайся, ты мне противна...

Ее стон потонул в оглушительном взрыве, совсем близком и долгом, и вдруг яркий свет озарил всю комнату... Пожар!.. Фанни в ужасе вскочила, машинально взяла со стола графин, вылила воду на грудку бумаг, пылавшую в огне, от которого в конце концов загорелась скопившаяся за зиму сажа, потом схватила ведро, кувшины, но, видя, что она бессильна и что искры долетают до середины комнаты, выбежала на балкон с криком:

- Пожар! Пожар!

Первыми прибежали Эттема, потом швейцар, потом полицейские. Кричали все разом:

- Закройте вьюшку!..

- Лезьте на крышу!..

- Воды, воды!..

- Нет, лучше одеялом!..

Жан и Фанни оторопело смотрели на свое заполненное чужими людьми, со следами грязных ног на полу, жилище. А когда пожар удалось потушить и тревога утихла, когда темная, слабо освещенная газовым рожком собравшаяся внизу толпа рассеялась, когда успокоились и разошлись по своим комнатам соседи, любовники, оставшись одни среди мокроты и жидкой грязи, среди перевернутой мебели, с которой стекала вода, испытывали смешанное чувство отвращения и беспомощности; у них не было сил ни для того, чтобы ссориться, ни для того, чтобы убрать комнату. В их жизнь вошло что-то низменное и злое. В тот вечер, преодолев брезгливость, они пошли ночевать в гостиницу.

Жертва Фанни оказалась бесплодной. Запомнившиеся наизусть целые фразы из сгоревших, исчезнувших писем терзали влюбленную память, молотками стучали в висках, точно отрывки из плохих книг. Почти все прежние поклонники возлюбленной Госсена были люди знаменитые. Умершие продолжали жить. Имена и портреты живых можно было увидеть всюду, о них говорилось в его присутствии, и всякий раз он испытывал чувство мучительной неловкости, как при разрыве семейных отношений.

Душевная боль так обострила его зрение, его наблюдательность, что он скоро научился различать у Фанни следы былых привязанностей, улавливать выражения, мысли, привычки, которые перешли от них к ней. Манеру вытягивать большой палец как бы для того, чтобы подчистить, подправить предмет, о котором шла речь, и приговаривать: «Рисуешь себе?..» – она переняла у скульптора. У Дежуа она взяла пристрастие к игре слов и к народным песням, – составленный им песенник пользовался известностью во всех уголках Франции; у Ла Гурнери – презрительный, надменный тон и строгость суждений о современной литературе.

Все это она усваивала, напластовывая разнородные особенности, и в конце концов образовалось явление, подобное стратификации, благодаря которой по различным слоям можно определить возраст и сдвиги земной коры. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она совсем не умна. Какое там умна! Глупа, как корова, вульгарна да еще на десять лет старше, держит она его силою своего прошлого, силою низкой, сосущей ревности, и припадков и вспышек этой своей ревности он уже не в силах таить, – он по любому поводу ополчается то на того, то на другого.

Романы Дежуа никто не покупает, собрание его сочинений валяется во всех книжных лавках, собрание это можно купить за двадцать пять сантимов. А старый сумасброд Каудаль в его-то годы помешался на любви.

– Ты знаешь, у него зубов нет... Я наблюдал за ним, когда он завтракал в Вилль-д'Авре... Он ест, как коза, жует передними зубами.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.